

Ведьма

из Старых Ключей



18+

АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ

Андрей Кобелев

Ведьма из Старых Ключей

<https://litres.ru/74100774>

SelfPub; 2026

Аннотация

Трое сильных экстрасенсов впервые сталкиваются с такой опасностью. Ведьма, полностью подчинившая себе деревню, погрузила всех жителей в пучину ужаса, из которого не выбраться.

Вся деревня её охотничьи уголья.

Что сделало её такой?

Почему изводит жителей?

Это и предстоит узнать нашим героям. Медиум, чернокнижник и ведьма - те, кто сможет изгнать её с насиженного места.

Смогут ли?

Навсегда ли?

Посмотрим.

Содержание

1	4
2	6
3	8
4	12
5	16
6	20
7	23
8	26
9	31
10	35
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Андрей Кобелев

Ведьма из Старых Ключей

1

В Старых Ключах уже давно не гасили свет по ночам.

И дело тут было не только в страхе — это слово тут давно вышло из употребления. Это слово слишком мягкое. Оно не отражает всего спектра эмоций местных жителей. Обычный страх заставляет твоё сердце биться чаще, ладони потеть, но утром забывается, за исключением разве что лёгкого налёта, больше похожего на туманное воспоминание ощущения. Как отголосок зубной боли, когда зуб уже вылечил, но фантомная боль остаётся.

Здесь страх не был фантомом или воспоминанием. Он был абсолютно реален и имел физическое воплощение. Он стал уже частью их. Он вращался в кости, в ногти, в корни зубов, навсегда поселялся в сердце и памяти.

Жители просто знали: выключишь свет — и темнота не просто ляжет на кожу. Она войдёт в неё. Втиснется, просочится в поры, в уши, под веки. Ляжет мокрой, тяжёлой, промёрзлой тканью, из тех, что пахнут сыростью и старой, давно запёкшейся кровью. Затечёт в рот, в ноздри, ощутимо сядет на корень языка ржавым привкусом меди и железа, затхло

земли с прогнившими корнями. И если вдохнуть слишком глубоко — можно почувствовать, как она скользит дальше, по трахее, в лёгкие.

Искусственный свет — это короста. Тонкая и хрупкая. Жёлтая, как засохший гной под повязкой. Он не греет, не лечит и не защищает. Он просто скрывает нарыв, даёт иллюзию, что под ним всё ещё есть здоровая кожа. Что ты ещё внутри себя, а не расползся тонким слоем по стенам. Что ты ещё видишь — значит, ещё жив.

Но это самообман. В Старых Ключах давно поняли: тьма никуда не уходит — она только отступает на шаг за жёлтую черту, за границу круглого пятна, стоит там, переминаясь с ноги на ногу, дышит в затылок, облизывает воздух вокруг лампочки, терпеливо жмурится от света.

Поэтому свет не гасили. Не потому, что верили в лампочки. Лампочка не держит тьму — просто жёлтая точка в беспросветной темноте, дрожащая, тусклая, болезненная. Маленький, жалкий фурункул на коже. Но пока она горит, можно делать вид, что у тебя ещё есть контроль. Выключатель. Что ты сам решаешь, когда наступит темнота.

Это иллюзия. Хрупкая. Опасная.

Но иногда иллюзия — единственное, что удерживает человека по эту сторону. В пределах разума.

2

Двое вышли из дома в начале двенадцатого. Чуть раньше — вроде как день. Чуть позже — уже совсем чужое время. Они выбрали пограничное, безопасное на их взгляд, но уже не совсем.

Одного звали Алексей, он же Лёшка для своих, второго — Димка, или как его звал только его друг — Димыч.

В деревне их знали как тех, кто суёт нос в такие места, от которых даже старые деревенские псы нос воротят. Не со зла — с голоду. Голод бывает разный. Иногда не хватает хлеба. Иногда — воздуха. А иногда внутри такая глухая, круглая пустота, что хочется засунуть туда всё: ночь, крики, чужие истории, запретные места. Лезть в чёрную дыру, лишь бы чем-то её заткнуть, пока она не взяла над тобой верх.

В Старых Ключах с этим было хорошо. Пустота всегда находила, чем себя наполнить. Вопрос был только в том, кто будет выбирать.

Луна висела полная, нездоровая, ненормально яркая, как набухший гнойник на чёрном теле неба. Белый свет — не мягкий, не серебристый, а мертвенно-больничный — стекал по крышам пустых домов, цеплялся за шифер, за гвозди, за антенны, застревал в голых ветвях тополей и вязов, как белые лоскуты марли. По дороге он растекался липкой плёнкой, как разлившееся масло, застывшее грязными развода-

ми.

Этот лунный свет не разгонял тьму. Он её очерчивал. Создавал контраст. Делал её более выпуклой, объёмной. Выталкивал наружу, загоняя в щели, под кусты, в промежутки между домами.

Делал её гуще, плотнее. Тени сгустились до консистенции старого дёгтя вперемешку с промёрзшим жиром. Они не лежали — они стояли. Виляли краями, подрагивали на границе зрения, медленно, с ленцой, дышали.

Деревня лежала как мёртвая. Это слово лучше всего описывало состояние и места и её жителей. Дома стояли, в некоторых даже горел свет — жёлтый, настороженный. Но жизни не было. Ни голосов, ни криков, ни музыки из дешёвых колонок, ни собачьего лая, ни храпа через тонкие стены. Даже насекомые боялись подать звук, забившись в щели и настороженно ожидая рассвета. И только жёлтые, больные прямоугольники окон, провалившиеся в темноту, как раскрытый в крике рот без дёсен и зубов. Они смотрели на пустую улицу, и даже свет не хотел выходить наружу, не освещая даже метра вокруг.

Где-то внутри одного из домов, за тонкой, грязной тюлевой занавеской, кто-то кашлянул. Сухо, коротко, резко — будто поперхнулся собственным куском горла и тут же испугался звука. Звук не разогнал тишину. Он даже не тронул её. Он просто провалился внутрь, утонул в ней, как камень в болоте, лишь подняв на секунду вонючие пузыри.

3

— Темно, — сказал Лёшка. Слишком громко. Будто проверяя, ещё работает ли голос.

— Ага.

Димыч шёл на полшага позади, втянув голову в капюшон так, что край тени от него шёл почти по переносице. В кармане куртки лежал крестик — бабкин, медный, затёртый до живого блеска, со впившимися в металл тонкими пальцами старой руки. Он сжимал его в кулаке так, что металл врезался в кожу до стонущей боли. Но не доставал. Если достанешь — значит, признался, что боишься. А он не боялся. Так он себе говорил. С каждым шагом. Как заклинание, которое не работает. К тому же боль отрезвляла, напоминала о том, что ты ещё жив.

Справа потянулись пустые дома. Окна забиты фанерой — кривой, вспухшей от дождя, со следами старых ударов. Или чёрные, сырые провалы без стёкол, запорошенные временем. Казалось, дома держатся на месте только потому, что на них смотрят. Отвернёшься — и они медленно, беззвучно оседают, проваливаются вниз, в податливую, подгнившую землю. А на их месте остаётся ровная чёрная яма. Или просто земля — гладкая, маслянистая, жирная, будто её долго, терпеливо поливали чем-то тёплым и густым.

Где-то далеко, со стороны леса, треснула ветка. Звук про-

катился по тишине — резкий, неприятный, как треск сухого сустава, который выкручивают в обратную сторону до конца, пока он не сломается.

— Слышал? — Димыч остановился, будто наткнулся на невидимую стену.

— Ветка.

— Ага. Но до леса далековато, звук был ближе.

Они постояли, вслушиваясь. Тишина была не просто тишиной. Она была плотной, как грязная вата, которой забивают рот в морге. Но под этим слоем что-то вибрировало. Тонко, неуловимо. Сквозь неё пробивалось другое. Не звуки — что-то глубже. Вибрация в костях, в зубах. Тихий, ровный гул где-то в затылке, ниже порога слышимости.

Димыч в какой-то момент понял, что слышит собственное сердце. Глухой, вязкий, тяжёлый пульс, отдающий в глазные яблоки мягкими толчками. Он слышал, как кровь идёт по венам на шее — медленными волнами, как в шланге.

В стороне от дороги, метрах в тридцати, что-то зашуршало. Не крыса. Крыса шуршит иначе — быстро, дробно, чётко, как мелким дождём по жестянке. Это было волочение. Словно кто-то перетаскивал по сухой листве что-то тяжёлое, мясистое, мягкое, расплзающееся, не желающее отрываться от земли.

— Крыса, — сказал Лёха.

— Ага. — Согласился Димыч.

Только вот они оба знали, что крысы так не шуршат. Но

проверять не хотелось. Проще себя было убедить в чём-то привычном.

Они пошли дальше.

Шорох двинулся следом. Не по дороге — параллельно, между голыми, тёмными стволами. Ровный, царапающий, словно кто-то длинными ногтями расчёсывал землю. Иногда он смолкал — и тогда тишина сгущалась до тонкого звона в ушах.

Димыч вдруг понял, что слышит не только свою кровь. Он слышал, как хрящи в шее трутся друг о друга при каждом движении головой, при каждом глотке. Как слюна с тихим хлюпаньем проходит по горлу. Как веки скрипят при каждом моргании — сухие, воспалённые, будто их долго тёрли мелкой наждачной бумагой. Но моргать — значит закрывать глаза. А этого делать нельзя — страх всегда таится в неизвестности.

И главное — он слышал, как скрипят зубы у Лёхи, когда тот сжимает челюсти. Слышал это не ушами — черепом.

Лёха остановился, резко, как дёрнутая за нитку кукла, повернулся лицом к лесу.

— Эй! — крикнул он. — **ВЫХОДИ!**

Голос прозвучал чужим — надорванным, влажным, с каким-то булькающим оттенком, будто кто-то изнутри ладонью сжимал ему гортань, чуть не раздавливая трахею.

Димыч дёрнул его за рукав.

— Тихо ты, — прошипел он. — Не ори.

— Тут пусто, — сказал Лёха, но голос дрогнул, сломался на середине слова. — Нет тут никого.

— Тогда идём.

Когда они двинулись, звук вернулся. Но уже не из-за деревьев. С дороги. Совсем рядом. Сзади. Шаги. Скорее — шлёпанье. Влажное, чавкающее. Будто кто-то ступал по мокрому асфальту босыми, распухшими от воды ногами, хотя асфальт был сухим, шершавым, обледеневшим.

Лёха дёрнулся, оглянулся через плечо. Пусто. Серая, блестящая лента асфальта уходила назад в темноту. Ни фигур, ни отблеска, ни движения. Только дальний, неподвижный, слепой свет редких окон.

Но появился запах. Вязкий, навязчивый, липкий, как сироп, который пролили и забыли. Сладковатый, приторный — смесь старой, подсохшей крови, сырой, подгнившей земли и формалина из сельского морга. Тошнотворно-знакомый, как те запахи, что иногда приходят в кошмарах с детства — с лестничных пролётов, подвалов, больниц, — но ты точно знаешь, что в реальности такого не нюхал.

Они переглянулись.

— Ветки падают, — сказал Лёха. Теперь это звучало не как объяснение, а как молитва. — Деревья старые.

Димыч кивнул. Впервые за ночь ему показалось, что крестик в кулаке дышит. Тёплый. Даже горячий. И он пульсировал в его руке. Будто металл изнутри подпирало что-то, отчаянно рвущееся наружу.

4

Они подошли ещё метров на пятнадцать. Запах ударил не в нос — в мозг. Стал невыносимым. Не просто сладковатым — густым, тяжёлым, оседающим на языке жирной маслянистой плёнкой. Кровь. Моча. Прелые тряпки. Ржавчина. Застарелый гной. И ещё один — главный, толстый, вязкий, который Димыч не мог опознать, и от этого было хуже всего. Он знал этот запах телом, знал его костями, знал той частью мозга, в которую сам себе давно закрыл доступ.

Туда, где его мать лежала в гробу уже второй день в их доме в ожидании погребения. Стоны, крики, слёзы, запах он очень долго его преследовал. Пока он не закрыл для себя эти воспоминания.

Но сейчас они опять вышли наружу. Осели на его языке тошнотворным налётом, поднимающейся волной тошноты, страхом, сковавшем его.

Женщина сидела к ним почти спиной, чуть вполоборота. Шея — тонкая, сухая, с проступающими позвонками. Она не смотрела в их сторону. Или тщательно делала вид.

— пришли, — повторила она тише, как бы для себя. — Уже близко. Нет. Не уйдут.

Она замерла. И очень медленно повела носом. Вдохнула. Втянула воздух — глубоко, громко, свистяще. Но звук был неправильным: не воздух входил в неё — наоборот. Что-то

вытягивалось наружу и тут же втягивалось обратно, засасывалось в её ноздри, сухие, потрескавшиеся, как старые трещины в земле.

С каждым вдохом тело её чуть менялось. Наполнялось. Кожа натягивалась ровнее, как тонкая плёнка на затягивающейся ране. Скулы проступали резче, впалые щёки чуть округлялись — будто она набирала массу из одного только воздуха и того, что в этом воздухе висело.

— Ах — вдохнула она, с явным наслаждением.

И улыбнулась.

Улыбка была слишком. Слишком широкая, растянутая почти до ушей, как разрез ножом по сухой коже. В этой улыбке — редкие, чёрные, острые обломки зубов. Язык — серый, длинный, высовывался и шевелился сам по себе, как отдельное живое существо, наделённое собственной волей. Он облизнул потрескавшиеся губы — медленно, смакуя, подбирая с них невидимые крошки — и, когда язык прошёл по собственной поверхности, Димыч увидел: в мелких трещинах языка копошится что-то белое, крошечное, безглазое.

— Свежие — выдохнула она с довольной хрипотцой.

И рассмеялась. Тихо, часто, дребезжащим, дрожащим звуком. Смех был похож на крошечный колокольчик, набитый землёй и костной стружкой. Но в этом смехе слышалось ещё что-то — вязкое чавканье, влажный треск, будто внутри у неё, в полости груди, перекачивалось и лопалось что-то мягкое, наполненное жидкостью. Из рта при смехе полете-

ли мелкие частицы — тёмный пепел, сухая кровь, обломки чего-то чёрного, блестящего, похожего на хитин. Они оседали на землю у её ног мелкой, поддрагивающей пылью, и часть из этой пыли, уже лёгшей, продолжала едва заметно шевелиться, словно там жили крошечные, невидимые насекомые.

У обоих по спине прошёл холод. Не мурашки — иглы. Липкий, колючий, от затылка до поясницы, пробежавший по позвоночнику волной. Димыч почувствовал, как волосы на руках, на затылке встают дыбом — не целиком, а каждый по отдельности, как будто кто-то по одному их выдёргивает и тут же вставляет обратно. Будто кто-то грубо гладит его сильной ладонью.

— Уходим, — выдохнул Димыч. — Лёха. Сейчас.

Он сделал шаг назад — и пяткой попал на сухую тонкую кость. Треск разорвал тишину, как выстрел.

Женщина вздрогнула. Не от испуга — от удовольствия. Тело её выгнулось, как от сладкой боли, плечи дёрнулись, спина распрямилась. Она издала звук — глубокий, глухой, горловой, похожий на сдержанный стон. Потом стихла.

И медленно повернула только голову.

Позвонок за позвонком — Димыч слышал это. Не ушами — кожей на затылке. Сухой, дробный треск, как будто кто-то перебирал костяные чётки, отщёлкивая по одной. Шея выворачивалась, выгибалась под неестественным углом. Тело осталось неподвижным, повёрнутым туда же, к полю, — а голова повернулась почти на сто восемьдесят градусов, мед-

ленно, с тихим, очень реальным хрустом, при котором кожа на шее чуть надорвалась.

Она повернулась к ним лицом.

И они увидели.

Они подошли ещё метров на пятнадцать. Запах ударил не в нос — в мозг. Стал невыносимым. Не просто сладковатым — густым, тяжёлым, оседающим на языке жирной маслянистой плёнкой. Кровь. Моча. Прелые тряпки. Ржавчина. Застарелый гной. И ещё один — главный, толстый, вязкий, который Димыч не мог опознать, и от этого было хуже всего. Он знал этот запах телом, знал его костями, знал той частью мозга, в которую сам себе давно закрыл доступ.

Туда, где его мать лежала в гробу уже второй день в их доме в ожидании погребения. Стоны, крики, слёзы, запах он очень долго его преследовал. Пока он не закрыл для себя эти воспоминания.

Но сейчас они опять вышли наружу. Осели на его языке тошнотворным налётом, поднимающейся волной тошноты, страхом, сковавшем его.

Женщина сидела к ним почти спиной, чуть вполоборота. Шея — тонкая, сухая, с проступающими позвонками. Она не смотрела в их сторону. Или тщательно делала вид.

— пришли, — повторила она тише, как бы для себя. — Уже близко. Нет. Не уйдут.

Она замерла. И очень медленно повела носом. Вдохнула. Втянула воздух — глубоко, громко, свистяще. Но звук был неправильным: не воздух входил в неё — наоборот. Что-то

вытягивалось наружу и тут же втягивалось обратно, засасывалось в её ноздри, сухие, потрескавшиеся, как старые трещины в земле.

С каждым вдохом тело её чуть менялось. Наполнялось. Кожа натягивалась ровнее, как тонкая плёнка на затягивающейся ране. Скулы проступали резче, впалые щёки чуть округлялись — будто она набирала массу из одного только воздуха и того, что в этом воздухе висело.

— Ах — вдохнула она, с явным наслаждением.

И улыбнулась.

Улыбка была слишком. Слишком широкая, растянутая почти до ушей, как разрез ножом по сухой коже. В этой улыбке — редкие, чёрные, острые обломки зубов. Язык — серый, длинный, высовывался и шевелился сам по себе, как отдельное живое существо, наделённое собственной волей. Он облизнул потрескавшиеся губы — медленно, смакуя, подбирая с них невидимые крошки — и, когда язык прошёл по собственной поверхности, Димыч увидел: в мелких трещинах языка копошится что-то белое, крошечное, безглазое.

— Свежие — выдохнула она с довольной хрипотцой.

И рассмеялась. Тихо, часто, дребезжащим, дрожащим звуком. Смех был похож на крошечный колокольчик, набитый землёй и костной стружкой. Но в этом смехе слышалось ещё что-то — вязкое чавканье, влажный треск, будто внутри у неё, в полости груди, перекачивалось и лопалось что-то мягкое, наполненное жидкостью. Из рта при смехе полете-

ли мелкие частицы — тёмный пепел, сухая кровь, обломки чего-то чёрного, блестящего, похожего на хитин. Они оседали на землю у её ног мелкой, поддрагивающей пылью, и часть из этой пыли, уже лёгшей, продолжала едва заметно шевелиться, словно там жили крошечные, невидимые насекомые.

У обоих по спине прошёл холод. Не мурашки — иглы. Липкий, колючий, от затылка до поясницы, пробежавший по позвоночнику волной. Димыч почувствовал, как волосы на руках, на затылке встают дыбом — не целиком, а каждый по отдельности, как будто кто-то по одному их выдёргивает и тут же вставляет обратно. Будто кто-то грубо гладит его сильной ладонью.

— Уходим, — выдохнул Димыч. — Лёха. Сейчас.

Он сделал шаг назад — и пяткой попал на сухую тонкую кость. Треск разорвал тишину, как выстрел.

Женщина вздрогнула. Не от испуга — от удовольствия. Тело её выгнулось, как от сладкой боли, плечи дёрнулись, спина распрямилась. Она издала звук — глубокий, глухой, горловой, похожий на сдержанный стон. Потом стихла.

И медленно повернула только голову.

Позвонок за позвонком — Димыч слышал это. Не ушами — кожей на затылке. Сухой, дробный треск, как будто кто-то перебирал костяные чётки, отщёлкивая по одной. Шея выворачивалась, выгибалась под неестественным углом. Тело осталось неподвижным, повёрнутым туда же, к полю, — а голова повернулась почти на сто восемьдесят градусов, мед-

ленно, с тихим, очень реальным хрустом, при котором кожа на шее чуть надорвалась.

Она повернулась к ним лицом.

И они увидели.

6

Лицо было человеческим. Вот в этом и был самый страшный, липкий ужас. Не звериная пасть, не театральная маска, нечто с рогами и клыками.

Лицо.

Женское.

Когда-то, вероятно, красивое. Когда-то, наверняка, живое. Теперь — высохшее, как мумия, саркофаг которой вскрыли слишком рано. Серая, пергаментная кожа обтягивала кости — но не везде. В уголках губ, около глаз, на скулах — мелкие трещины, из которых сочилась густая, жёлтая, мутная жидкость, похожая на сукровицу вперемешку с гноем.

Скулы — острые настолько, что казалось, они уже должны были прорезать кожу изнутри. Сквозь тонкую, натянутую, как плёнка, кожу Димыч видел белые края кости — влажные, блестящие в лунном свете, словно их только что облизали.

Ноздри провалились — две чёрных, глубоко уходящих внутрь дыры, как пулевые раны. Из них при каждом выдохе вырывался слабый пар. В лунном свете он казался не белым, а серым, маслянистым, тяжелее воздуха.

Губы — тонкие, почерневшие, потрескавшиеся до кровавых полос. Кровь там была тёмной, почти чёрной, густой, как смола, и местами уже засохшей коркой.

Но самой жуткой была её улыбка.

Слишком широкая, растянутая почти до ушей, как разрез ножом по сухой коже. В этой улыбке — редкие, чёрные, острые обломки зубов.

Язык — серый, длинный, высовывался и шевелился сам по себе, как отдельное живое существо, наделённое собственной волей. Он облизывал потрескавшиеся губы — медленно, смакуя, подбирая с них невидимые крошки — и, когда язык прошёл по собственной поверхности, Димыч увидел: в мелких трещинах языка копошится что-то белое, крошечное, безглазое.

И тогда Димыч понял: это личинки. Мелкие, белые, безногие, они копошились на поверхности языка, сворачивались и разворачивались, падали на губы, на подбородок, на сорочку. Часть невольно соскальзывала на грудь, оставляя мокрые, шевелящиеся дорожки.

Изо рта с дыханием вылетали мелкие частицы — тёмный пепел, сухая кровь, обломки чего-то чёрного, блестящего, похожего на хитин. Они оседали на землю у её ног мелкой, подрагивающей пылью, и часть из этой пыли, уже лёгшей, продолжала едва заметно шевелиться, словно там жили крошечные, невидимые насекомые.

Глаза.

Глаза не принадлежали этому лицу. Не могли. Красные — целиком, без белков, без привычных зрачков. Две расклеванные, полупрозрачные, живые ямы. Изнутри в них сочил-

ся тусклый, вязкий свет, пульсирующий в такт её неровному дыханию. Но, глядя туда, Димыч увидел, что в этом свете что-то движется. Мельчайшие, чёрные, беспорядочные силуэты, тени, кружащиеся, снующие в красном мареве, как мухи над банкой, набитой тухлым мясом.

Она смотрела на них, и в этих красных глубинах кипело что-то похожее на веселье. И голод. Голод там был главным.

— Хорошие — выдохнула она. — Живые

Димыч почувствовал, как её дыхание коснулось его кожи. Это был не воздух. Не ветер. Что-то влажное, склизкое, плотное, по температуре — как труп, который только что вынули из ледяной воды. Оно осело на лице тончайшей плёнкой, растеклось по щекам, по вискам, до подбородка. И уже через пару секунд Димыч ощутил, как кожа под этой плёнкой начинает зудеть. Сначала почти приятно, потом навязчиво. Зуд глупо хотелось почесать до крови.

Она поднялась.

Не встала — вырвалась вверх, как если бы её дёрнули за невидимую, натянутую под рёбрами нить. Суставы хрустнули — звонко, сухо. Колени на миг выгнулись в обратную сторону, ломая привычную анатомию, прежде чем медленно вернулись как надо, с влажным щелчком. Сорочка взлетела, открывая бледные, серые, безволосые ноги.

Босые ступни — Димыч успел отметить самое лишнее. Пальцев на ногах было слишком много. Шесть. На каждой стопе. Длинные, кривые, с толстыми, жёлтыми, выгнутыми ногтями, больше похожими на когти. Они царапнули землю, и там, где они прошли, остались глубокие, мокрые борозды, в которых шевельнулась та же белая, копошащаяся мелочь.

— Бежим! — крикнул Лёха. Не голосом — мокрым, перехваченным, разодранным хрипом человека, которому кто-то расплосовал горло изнутри тонким ножом, но ещё не добил.

Они сорвались с места.

Сзади раздался смех — высокий, залиvistый, почти девчачий, если бы не хрип, и не чавкающий, мясной звук, сопровождавший каждый вдох.

— Дого-ню — протянула она, напевно растягивая слоги, как детскую песенку.

Димыч бежал, не разбирая дороги. Ноги сами несли его по грунтовке. Земля под подошвами казалась не твёрдой — вязкой, словно он бежит по тонкому слою мясной жижи, которая засохла и снова размокла. Он слышал только своё дыхание — рваное, свистящее, будто в горле застрял ржавый гвоздь, — и чужие шаги.

Шлёпанье босых ступней по земле.

Шлёп-шлёп-шлёп.

— Шустрые — донеслось сзади почти ласково, с каким-то материнским оттенком. Она хихикнула — коротко, тонко, как девчонка, которой позволили слишком много.

Лёха оглянулся на бегу. Она бежала метрах в пятнадцати — и корчила рожи. Высовывала серый, полный копошащейся живности язык, вращала красными глазами, кривила рот, будто дразнилась. И хихикала, срываясь на кашель. Она не просто гналась. Ей нравилось, что они бегут. Нравилось, как двигаются их мышцы, как работают лёгкие, как ритмично, торопливо колотятся сердца.

— Я быстрее! — крикнула она вдруг, и голос стал резким, жёстким, металлическим, будто прошёл через ржавую трубу.

Дистанция сократилась до десяти метров. Воздух за спиной стал другим. Тяжёлым, холодным, как сквозняк из подвала морга, где давно сломался холодильник, но тела всё равно приносят. Димыч почувствовал этот холод спиной, под мокрой от пота футболкой, голой шеей — и по коже пробежала дрожь. Острая, как лезвие ножа, проведённое по позво-

ночнику.

Он бежал и чувствовал, как крестик в кулаке раскалился до боли. Металл жёг ладонь — не просто горячий, а кипящий, будто его только что вынули из горна. Пальцы свело судорогой — он разжал их не собственной воле, и крестик, мокрый от пота, выскользнул, упав в пыль.

Димыч этого даже не заметил.

— Догоню-догоню-догоню — запричитала она тонко, то-ропливо, сбиваясь. — Догоню-догоню-дого

И вдруг — тишина.

Шаги оборвались.

Не затихли, не замедлились — оборвались. Резко. Как будто кто-то выключил звук на половине слова.

Димыч пробежал ещё метров десять, прежде чем мозг обработал сигнал — тишина. Ноги сами начали сбавлять шаг. Он споткнулся, едва не упал, развернулся на почти онемевших ногах, хватая воздух ртом.

Лёха врезался в него, тоже обернулся, тяжело дыша, с раскрытым ртом, с глазами, вылетающими из орбит.

Она стояла.

Посреди дороги.

Застыла, как манекен. Одна нога поднята в воздухе — колено согнуто, ступня зависла над землёй. Поза бегущего человека, которого заморозили кадром. Руки раскинуты в стороны — неестественно, как у марионетки, которую резко дёрнули за верёвки и так оставили.

Она не дышала.

Сорочка, только что хлеставшая по воздуху, обвисла мокрыми складками. Глаза — красные, кипящие — смотрели прямо сквозь них, в никуда, не моргая. Лицо застыло в той самой гримасе — язык высунут, рот перекошен. Но она не шевелилась.

Секунда.

Вторая.

Только ветер. Лёгкий, холодный, скользящий по голой коже. Где-то скрипнуло дерево — сухо, протяжно, будто старый сустав, который давно не смазывали.

Димыч слышал собственное сердце. Тяжёлое, загнанное. Оно билось где-то в горле, в висках, в глазных яблоках — глухими, слишком громкими толчками.

Бум-бум бум-бум

Лёшка рядом дышал — рвано, со свистом. Воздух входил и выходил с мокрым, хлюпающим звуком.

Скрипнуло ещё одно дерево. Где-то слева, у дороги.

Тишина стала плотной, как желе. Димыч чувствовал её на языке — горьковатую, с металлическим привкусом.

Он смотрел на неё. Она не двигалась. Ни ресница не дрогнет. Ни палец. Ни складка на сорочке не колыхнётся.

Что это? Что за херня?

Димыч перевёл дыхание, пытаясь успокоить сердце. И вдруг краем глаза — на земле, в полосе лунного света, метрах в двух перед её босыми ступнями — что-то блеснуло. Маленькое, тёмное, знакомое.

Крестик.

Его крестик. Точнее его бабушки, медный, затёртый. Он лежал на пыльной дороге, и Димка готов был поклясться — от него всё ещё шёл пар. Тонкий, едва заметный в холодном воздухе, как от камня, который только что вынули из кипятка. Будто металл остывал после невидимого огня, будто се-

кунду назад он был раскалён докрасна.

Она стояла прямо перед ним. И не переступала.

— Лёха — выдохнул Димыч, не узнавая свой голос. —

Чего это она

— Лёха — выдохнул Димыч, не узнавая свой голос. —

Чего это она

Лёха мотнул головой. Мелко, быстро. Глаза не отрывались от фигуры.

— Не знаю — прохрипел он. — Не знаю, блин...

Бум-бум бум-бум

Димыч переступил с ноги на ногу. Под подошвой зашелестела пожухлая трава. Лёшка от неожиданности сглотнул и поперхнувшись откашлялся. Звук показался оглушительным, неестественно громким.

Она не шелохнулась.

— Может срежем? — выдохнул Лёха, едва шевеля губами. — Через кладбище?

Старое кладбище лежало в стороне — полоска чёрной, голой земли за кривым рядом замшелых плит. Говорили, оно было здесь ещё до того, как кто-то вбил первый колышек на месте Старых Ключей. Наследие старого села, от которого не осталось и следа.

Сейчас оно смотрело на них чёрными провалами между крестами. И Димычу показалось, что оттуда тянет тем же запахом — сырой землёй, гнилью, формалином. Но самый короткий путь домой вёл именно через него.

Димыч тоже сглотнул. Во рту было сухо, как будто он жевал вату. Кивнул.

— Давай. Только тихо.

Они сделали шаг в сторону — медленно, стараясь ступать беззвучно. Ещё шаг. Димыч боковым зрением следил за ней, готовый рвануть в любой момент.

Она не двигалась.

Третья секунда. Четвёртая. Дерево скрипнуло снова — и Димыч краем уха уловил, как в тишине скрип прозвучал ритмично. Как будто кто-то раскачивался на ветке в такт чему-то. Или не на ветке.

Бум-бум. Бум-бум.

Они сделали ещё шаг. Потом ещё.

— Нормально, — выдохнул Лёха, чуть громче. — Нормально, отходим

Димыч перевёл дыхание. Краем глаза — туда, где скрипело дерево.

Ветка качнулась. Сильнее. И намного медленнее ветра.

Он не успел дёрнуться. Не успел крикнуть. С ветки — бесшумно, тяжело — спрыгнуло что-то. Мокро шлёпнулось на землю, распласталось на миг, как тряпка, и поползло. Не к ним.

К ней.

Димыч смотрел, как серая, лоснящаяся туша перебирает длинными, тонкими лапами, волоча брюхо по сухой траве, — быстро, деловито, будто выполняя приказ, который отда-

ли давно, а он только сейчас дошёл. Оно подползло к её бо-
сой ступне, замерло на секунду — и ткнулось мордой в щи-
колотку. Прижалось.

И тут она моргнула.

Оба замерли.

Глаза женщины — красные, живые, горящие — медленно, с маслянистым блеском, повернулись в их сторону. Не голова. Не тело. Только глаза внутри черепной коробки, которая оставалась неподвижной.

Она смотрела на них. Молча.

Потом, медленно, очень медленно — как испорченный механизм — её голова начала поворачиваться. Позвонок за позвонком. Хруст сухой, дробный, отчётливый в тишине. Будто вся смазка в ней кончилась пока она бежала.

И когда она посмотрела прямо на них, губы её растянулись. В ту же улыбку. Слишком широкою. Слишком довольную.

— Куда же вы? — спросила она почти ласково. Голос — тёплый, участливый, как у медсестры, которая говорит, что от укола будет «чуть-чуть больно». — Мы же не доиграли.

9

Она опустила ногу. И побежала.

Снова.

Быстрее, чем раньше.

Шлёпанье босых ступней, хлюпанье, хруст — и смех, высокий, залиvistый, срывающийся то ли на плач, то ли на кашель.

— Дого-ню! Дого-ню! Догоню-догоню-догоню-догоню!

Димыч рванул, не глядя. Ноги понесли его через поле, по кочкам, по рытвинам, по чему-то мягкому, чавкающему под подошвами. В голове было пусто — только одна команда, отдающаяся где-то в спинном мозгу: беги беги беги беги беги.

Лёшка бежал рядом. Тяжело дыша. За спиной — смех, шаги, дыхание, влажное, горячее, у самого затылка.

— Сейчас — прошелестело почти у уха. — Сейчас. Сейчассейчассейчас

Она была рядом. Рука — длинная, костлявая, с ободранной кожей — метнулась вперёд. Пальцы, похожие на ссохшиеся корни, коснулись затылка Лёхи. Не схватили. Просто провели. Легко. Почти нежно.

Лёха дёрнулся всем телом, будто его ударило током. Из горла вырвался звук — не крик, не стон. Свист. Хриплый, рвущийся, похожий на то, как выходит воздух из пробитой шины.

Она провела языком по губам, собирая чужой звук с воздуха, медленно, смакуя.

— Тёплый, — сказала она ему. — Очень тёплый

Она облизнулась ещё раз, и с языка упало несколько белых личинок. Они плюхнулись на грязь и тут же забились, ища, куда бы зарыться.

— Мягкий.

Лёха рванул ещё быстрее. Димыч бежал немного в стороне. Кладбище было уже близко. Тёмные, ломанные силуэты крестов на кладбище, торчащие, как ряды ржавых гвоздей.

— Быстрее! — крикнул Димыч, вспомнив про крестик и стоящую перед ним неподвижно ведьму, — на кладбище! Там церковь! Она сдержит.

Они влетели в раскрытые ворота погоста и побежали прямо к церквушке, что стояла в центре.

И вдруг шаги опять стихли.

Димыч пробежал ещё метров двадцать, прежде чем мозг догнал, что за спиной стало пусто. Он остановился резко, почти рухнув, хватая воздух ртом, как рыба, выброшенная на землю. Лёшка врезался в него сзади, оба рухнули на колени, сбивая кожу до крови.

Тишина.

Только сердце бьётся в висках — глухо, слишком громко, как барабан в бетонной пустой комнате. Только лёгкие свистят, задыхаясь в собственном жаре.

Димыч поднял голову. Прислушался.

Ничего.

Он медленно обернулся. Она стояла у калитки кладбища. Не переступала. Не пыталась войти. Просто стояла — босая, в своей светлой, мокрой сорочке.

И смотрела на них.

Потом, не отрывая взгляда, она сделала шаг назад. Второй. Остановилась.

И театрально — нелепо, слишком широко, как клоун в конце номера, — поклонилась. Руки развела в стороны, голова опустилась почти до колен, спина выгнулась дугой. Сорочка взлетела, открывая синеватые, костлявые ноги.

Поклон длился несколько секунд. Потом она выпрямилась — медленно, позвонок за позвонок.

Лицо её расплылось в улыбке. Не злой. Не угрожающей. А такой, какой улыбается артистка после удачного выступления, когда зал аплодирует, а она уже знает — будет бис.

— Что так кисло? — спросила она, наклоняя голову набок. — Такое представление и без аплодисментов? Ну ладно.

Она сделала шаг вперёд — к калитке. Замерла. Подняла правую ногу, поставила её над невидимой линией — и не опустила. Пальцы — все шесть — медленно шевелились в воздухе, царапая пустоту, и там, где их воображаемые кончики касались невидимой границы, воздух чуть густел, как от жары над плитой.

Она опустила ногу. Шагнула назад.

— Красиво бегаєте, — протянула она напевно, смакуя

каждое слово. — Ничего. Я подожду.

Она помолчала, склонив голову к плечу так, что что-то хрустнуло в шее.

— Не прощаемся. Я приду посмотреть, как вы спите дома.

Она облизнулась — медленно, не отрывая от них взгляда. Язык скользнул по губам.

— Я подожду, — сказала она просто, обыденно, как будто говорила о походе в магазин.

Повернулась — и снова поклонилась. Уже спиной. Прогнулась назад, заглянула им между ног снизу вверх — глаза красные, щёки потрескавшиеся, язык наружу. Издала короткое, хихикающее «уии!» — и выпрямилась.

И, не оборачиваясь, пошла обратно, в сторону чёрного поля. Сорочка волочилась по земле, замечая след, но там, где проходили её ступни, земля чуть поднималась и опадала, будто дышала.

Димыч смотрел ей вслед. В голове была пустота. Ни одной оформленной мысли. Только белый, шумящий фон, как помехи в старом телевизоре на мёртвом канале. Лёха тряс его за плечо, что-то говорил, повторял его имя. Димыч слышал звуки — обрывки, глухие, как через воду, — но не мог собрать их в слова.

Он стоял на коленях, глядя туда, где темнота сомкнулась за её спиной, и мелко, непрерывно дрожал. Дрожь шла не сверху вниз, а изнутри наружу — из костного мозга к коже.

Лёха подхватил его под мышки, потащил к церковной сторожке. Они забились в узкий, чёрный угол между стеной и поленицей. Лёха обхватил его руками, прижал к себе, чувствуя, как тот дрожит. Димыч уткнулся лицом в его плечо. И застыл.

Он чувствовал собственное тело — и не узнавал его. Оно было чужим мешком, набитым дрожью и холодом. Кожа на лице горела там, где её коснулся влажный, мёртвый выдох женщины. Зуд стал нестерпимым. Димыч, не понимая, что делает, изо всех сил тёр лицо рукавом, ногтями, кое-где цепляя кожу до крови.

У Лёшки пальцы, сжимавшие плечо Димки, дрожали крупной, неуправляемой дрожью. Он пару раз попытался что-то сказать — из горла выходил только сиплый, влажный,

сдавленный звук, будто в гортани сидит что-то чужое и тяжёлое.

Глаза у обоих оставались открытыми. Они смотрели в темноту — но почти ничего не различали. Темнота смотрела в ответ.

Внутри у каждого было пусто и холодно — как в старом, заброшенном колодце, из которого вычерпали последнюю воду. Но на дне этого колодца что-то шевелилось. Тихо, едва заметно, но очень настойчиво.

И только голос шелестел где-то в глубине сознания: «Я подожду»

Утром их нашёл сторож Ильич.

Они сидели, сцепившись, в том же углу, куда забились ночью. Плечо к плечу, как сросшиеся корнями деревья. Пальцы вцепились друг в друга так, что костяшки побелели ещё ночью, да так и застыли. Глаза были открыты. Слишком широко. Сухие. Веки не моргали.

Волосы были белые. Совсем. До корней. Не седые — именно белые, как выбеленные хлоркой. На плечах, на воротах курток лежали выпавшие пряди.

Ильич наклонился ближе и увидел: у обоих на лице, на шее, на руках — маленькие, круглые, чёткие синяки — как отпечатки пальцев чьей-то тонкой, длинной руки. В некоторых местах кожа была чуть прорвана.

На шее Лёшки, чуть ниже затылка, темнело влажное пятно. По краям — мелкие белые точки. Ильич прищурился,

наклонился ближе — и отдёрнул руку, будто обжётся.

Точки шевелились.

Он машинально перекрестился, отступил, развернулся и побежал к телефону.

Поле за кладбищем было пусто. Никаких фигур в сорочках. Только на чёрной, выжженной земле темнел свежий след босой ступни. След шёл от поля — в сторону деревни. К домам.

След был шестипалым. Каждый палец отпечатался отчётливо. И в каждом отпечатке поблёскивала маслянистая, тёмная слизь, в которой копошилось что-то белое, тонкое, извивающееся.

И то ли от ветра, то ли само по себе шорохом шептало:
— Я подожду

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.